

Е.К. Краснухина

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: ОТ МЕТАФИЗИКИ ОБЪЕКТА К МЕТАФИЗИКЕ АКТА

«Чтобы видеть ход вещей на свете, не надо глаз. Смотри ушами», – говорил король Лир. Эти слова знаменуют собой то обстоятельство, что европейская мысль образует две эпохи: метафизики объекта и метафизики акта, специализации и темпорализации бытия, онтологии видимого и онтологии слышимого. Обе означенные интеллектуальные формации лишены однозначности.

С одной стороны, царство рефлексии и репрезентации, конституировавшее телесность и скульптурность бытия, зримость всех объектов и, прежде всего, объектов идеальных или предметов мысли, при всем своем оптикоцентризме, в конечном счете, тематизирует видимое как видимость. Если умозрение открывает истину, то физическое зрение порождает иллюзию и ложь. Античность в лице Демокрита предпочла парадокс чисто теоретического зрения, даже достигнутого ценой физической слепоты, доксе чувственной наглядности. Ренессанс окончательно превращает реальность в картину мира, научность и субъектная оптичность которой уже не делимы. Амбивалентность зримости как умозрения и как видимости пронизывает собой метафизику представления.

С другой стороны, философская эпоха экзистирования, а не объективации сущего, эпоха вслушивания, а не вглядывания в бытие, социально и культурно отметила себя исключительной спектакулярностью или перформативностью.

Во всем этом заключено какое-то обратное движение исторического и логического. Изначален фольклор, устное предание. Письмо, печать возникают позднее. Движение метафизики идет противоположным путем от статичности вида-эйдоса к звуку-длительности. Интересна история увлечений ребенка. Сначала ему дарят книжки с картинками, краски, карандаши, фломастеры, затем наступает эпоха кассет, компакт дисков, плееров и музыкальных центров.

Эйдетика – это наука о виденном, умозрение сущности. Онтология интеллигибельного никак не вмещала в себя длительность субъективности. Вещь постижима мгновенно. В своей идее вещь дана сразу. Она способна занять какое-то место, простираясь в пространстве, но не способна продолжаться во времени. Сущность вещи вне временна, она не обладает длительностью. Мы видим эйдосы, сущности, идеальные конструкции вещей. Мир видимого, по словам Сезанна, сводился для него к формам шара, конуса и цилиндра. Мы говорим: «Он круглый дурак». Это неправильно увиденный эйдос дурака. Круг, шар – фигуры

совершенные, гармоничные, умные и прекрасные, как полагали древние греки. Тупость формы свойственна скорее квадрату. Наверное, уместнее называть дурака не круглым, а квадратным или дураком в квадрате, в изрядной степени.

Эйдосы не звучат. Звучит то, что может длиться, продлеваться во времени в экзистенциальных актах. Длительность есть самовременение, конституирование себя изнутри, а не демонстрация себя во вне. Даже в наследии соцарта мы можем найти формулировку этой мысли: «Человек – это *звучит* гордо». Совсем не то у Декарта: человек – это вещь, хотя и мыслящая, а не просто пространственно-телесная. У Декарта Я протяженно дедуктивно, а не музыкально длительно во времени. Протяженность мысли не идентична протяженности боли. Треугольник есть очень умная вещь, о боли этого не скажешь. Треугольник простирается в пространстве, а боль длится во времени. И в этом смысле боль звучит. Боль есть реальность самости. В боли обретает протяжение субъективность, а не простирается предметность. То, что видимо, беззвучно. А то, что звучит, незримо. Табуретка рукотворна. Она вещь и не издает ни звука. Зато её можно увидеть. Скрипка нерукотворна. В ней звучит боль, звучит душа. И поэтому скрипку нельзя увидеть. Как источник звука скрипка незрима.

Гомер был слеп, Бетховен – глух. Однако первое может рассматриваться как обретение, а второе как потеря благодати. То, что по-английски формулируется как «Look!», по-русски передается как «Послушай!». Короче, «смотри ушами». Русский язык в данном случае душевнее и иррациональнее, английский телеснее и рефлексивнее, ибо первый связывает понимание с глаголом слуха, а второй с глаголом зрения. «I see» скажем мы по-английски, выражая свое понимание проблемы. «I hear» совершенно невозможно употребить в этом смысле. Французский же язык имеет другой глагол, в котором умопостижение синонимично с восприятием. Это «entendre» – во-первых, слышать, во-вторых, понимать, а в-третьих, *подразумевать* или иметь *в виду*. Передача последнего из трех значений термина «entendre» по-русски возвращается к взаимосвязи в умозрении разума и видения.

«Ты слышишь, что я тебе говорю?», – беспокоимся мы по-русски, когда сомневаемся во взаимопонимании. И никогда в ситуации диалога не интересуемся: «Ты меня видишь?». Мысль и речь другого по-русски надо слышать, а не видеть. Слышать значит понимать, интерпретировать, вживаться. Постичь вещь материальную или идеальную значит увидеть её. Понять человека, чувство, субъективное состояние значит услышать их. Террористы, взорвавшие один из супермаркетов в США, объясняли свои действия тем, что «хотели быть услышанными», т.е. понятыми в своей позиции, а не увиденными, замеченными. Скрывающиеся люди

хотят быть слышимыми, но невидимыми при этом. Так, именно глухота, а не слепота является трагедией современного мира. Мира, где зло прозрачно, где всё видно, но при этом невнятно, не слышно, непонятно в глубине, а не на поверхности.

Термин рефлексия имеет двойной смысл: это и постижение сущности, и отражение от зеркальной поверхности. Поэтому сфера визуального тематизируется и как эйдос, и как имидж. Если эйдос был умозрительно постигаемой *внутренней сущностью*, то современный имидж сводится к *внешней видимости*, маске, оптической иллюзии. В отличие от греческого созерцания (теории) современная зримость, визуальность – это еще и визионерство, т.е. призрачность, скорее видение, чем видение. «Я меньше опасюсь прикосновения ко мне, чем брошенного на меня взгляда», – писал Делёз. На человека в принципе нельзя смотреть. И вовсе не потому, что зрению открывается слишком многое из потаенного. Взгляд менее интимен, чем касание. Он безусловно относит меня к фактам внешнего, а не внутреннего опыта, как моего, так и другого. Взгляд не пронизывает человека, он отталкивается от поверхности. В этом и заключается, согласно Сартру, неподлинность социального бытия-под-взглядом, которое объективирует человека, убивает его субъективность и нетождественность самому себе. Прерогатива видеть, не будучи видимым, оказывается божественной.

Несмотря на всю проблематичность зримого, современная эпоха нарциссична: инструментом самосознания является зеркало и порождаемые им образы-двойники. Правда, оптический эффект идентификации преодолевает элеатскую интеллектуализацию бытия. Натурализм вовсе не обязательно заключается в материализации духовного. Напротив, он может состоять в интеллектуализации, в приравнивании любого существования к бытию идеи, понятия, т.е. к тождеству или к вещи. Субъективность, длительность, звук, речь не мыслятся ныне как самотождественные. Самое существенное в них это то, что они конституируются внутренними различиями.

Представление как нечто визуальное претерпело существенную темпорализацию и субъективизацию, в результате чего превратилось из античного эйдоса в современный «look» или «image». Представлять в современном дискурсе значит видеть в воображении. Трансформировавшись из объекта мысли в предмет воображения, образ стал фантомом. Когда мы перешли от идеальных объектов-эйдосов, созерцаемых логосом, к образам, видимым в воображении, оказался задействованным весь широкий смысловой диапазон понятия имидж, простирающийся от значения *образа* до значения *копии*.

Различие реальности образа и реальности звука связано с тем процессом, в котором идея, понятие становится словом, речью, а речь

дескриптивная – речью перформативной, превращающей любой референт в акт речи. Такая речь подобна музыке, она лишена репрезентативности. «Музыка не презентует и не репрезентует ничего, даже как видимость, – писал Делез в работе «Перикл и Верди», – исключая по своей природе визуальное представление, избегая тем самым зеркально-спекулятивной ловушки...она напоминает нам, что функция разума не в презентации, но в актуализации силы, то есть во внедрении человеческих связей в материю (звуковую)». Человеческое и звуковое родственно. Человеческое бытие актно. Поэтому человек не сводим к субъекту разума, а должен рассматриваться и как субъект речи. В конечном счете, как сказал Р. Барт, «всякий *logos* оказался сведен к *lexis*'у», т.е. в тематизациях представления акцент переместился с представления предмета в мысли на представление предмета в речи.

Идея, эйдос, концепт обретают речь, превращаются в слово, означиваются. Почему кроме *означивания* смысловой реальности необходимо еще и *озвучивание*? Для чего знаку звучать? Зачем языку нужен голос, фонема, а не только графема знака? Или как спрашивал Деррида в своих комментариях к Гуссерлю: «Почему же фонема является самым идеальным знаком»? Ответ на этот вопрос гласит: потому что речь может быть рассмотрена как чистое сознание.

Сопричастность звучащей речи и идеальности ее смысла раскрывается в гуссерлевской версии, помещающей знак внутрь экспрессивного значения. Манифестирующие знаки редуцируют указательную пространственность знаков денотирующих. В этом смысле знак впервые становится коммуникативной единицей речи, произнесенным словом, когда говорящий произносит его с целью самовыражения по поводу чего-то. Сущность речи делает возможной абсолютную близость означающего и означаемого, присутствие акта означивания.

Существует идеальный аспект, психический образ любого означающего, как фонемы, так и графемы. Однако, не всякая идеализация тождественна внутренней речи. Каждое нефоническое означающее имеет пространственную референцию, даже в феноменологической сфере переживания. Бытие в мире – сущностный компонент его феномена. Но существует означающее, чья феноменальность в принципе не имеет мирской формы. Это фонетические знаки в сосюрровском смысле. Как путь не есть дорога, согласно восточной мысли, так и голос не есть звук, согласно дискурсу феноменологическому. Звук существует в мире, а голос – это звучание в качестве феномена сознания. И в этом смысле никакое сознание невозможно без голоса, голос и есть сознание, т.е. бытие, которое обнаруживает свое самоприсутствие.

Слышание себя и видение себя это два различных вида самоотношения. Если мы смотрим на свое тело или его отражение в зеркале, то обнаруживаем, что это такой опыт самости, в структуры которого вплетаются пространственные формы внешнего мира. Слушание своей речи есть опыт такой близости-к-себе, в котором снимается даже вся та экстериорность в интериорности или внутреннее пространство, составляющее образ нашего собственного тела. Означающее приобретает здесь форму, не являющуюся внешней по отношению к субъективности. Слушание своей речи как абсолютно чистое самоотношение реализует одновременное восприятие чувственной формы речи и понимание собственной выразительной интенции. Таким образом осуществляется слово как единство концепта и фонии или идеи и звукового материала знака.

К сущности живой речи относится то, что говорящий субъект слушает себя в настоящем. Это процесс, в котором создается живое мгновение *теперь*, а не всевременность бесконечно повторяющихся идеальных объектов. Так конституируется бытие как присутствие, бытие-для-себя, самость в её самоотношении, звуковой порядок длительности во времени. Графемы языка могут быть следом смысла, в которых уже трудно реконструировать присутствие акта его полагания, а фонемы речи оказываются живым присутствием, актуальностью смысла и интенции. Таким образом происходит становление смысла и сути в форме присутствия. Рождаются не объективируемые смыслы в их неотделимости от актов и событий эмпирической субъективности, от её здесь-и-теперь бытия.

Что значит быть сознанием или присутствием для себя? Всякое присутствие конституируется отношением с чем-то иным, нежели само наличествующее, отношением к тому, что не присутствует. Всякое бытие по аналогии со знаковым может трактоваться как система отсылок и различий. Регистр видимого конституирован дифференциацией как отличием от другого в пространстве, а регистр слышимого образован иной дифференциацией – различием с самим собой во времени. Внутреннее различие как несамотождественность задается как ретенцией, памятью, *удерживанием* прошлого в настоящем, так и отсрочиванием, откладыванием на будущее, *задержкой*. Субъективность как внутренняя реальность голоса образуется, становясь другим того же самого. Второй тип различения не в качестве временного отсрочивания и промедления, а в качестве опространствления, представляет собой скорее нечто другое по природе или по качеству, но не другое того же самого. Это пространственно-зрительное различие как различимость объектная, телесная, геометрическая, визуальная. Тут-бытие, присутствующее в голосе, напротив, не есть оче-видность.

Эти два вида дифференциации и призван разграничивать неологизм (точнее неографизм) Ж. Деррида, противопоставляющий привычную difference (различие) новообразованной differance (различение) как различие с другим в пространстве, противоположное различию с самим собой во времени. Собственно эта терминологическая проблема касается исключительно французского языка, в котором понятие «difference» не сохраняет в себе четкого смыслового дуализма того глагола «differer», от которого оно и образовано. Первый из этих смыслов – *различаться* – очевиден в понятии «difference», а вот ассоциация со вторым значением – *отсрочивать, откладывать* – крайне слаба. Однако, в языке английском, восходящем в данном случае к тому же латинскому корню, что и термины французские, ситуация иная. В нем просто существуют два разных глагола, соответствующих двум различным смыслам французского differer: to differ – отличаться и to defer – отсрочивать. Два смысла, принадлежащих во французской дискурсии одному слову, в речи английской уже относятся к двум разным словам. Причем, различие смыслов достигает такой существенности, что дополнительные значения двух английских терминов уже просто диаметрально противоположны: differ еще значит «спорить, не соглашаться», а defer – «подчиняться, соглашаться с чьим-либо мнением». Соответственно двум разным глаголам существует и два английских термина-существительных: difference – различие и deferment – отсрочка. Осуществленную Деррида языковую игру можно дополнить анализом некой пространственно-временной амбивалентности как французского, так и английского термина vision. Если visional еще значит видимый, т.е. пространственный, то provisional (фр. – provisionnel) уже означает предварительный или временный. Внутренняя пространственность опыта видимых идеальных объектов трансформируется во временность экзистенциальных актов звукового ряда речи.

В современном философском дискурсе затруднительно говорить о какой-либо экстралингвистической реальности, ибо мир дан нам исключительно в языке, что справедливо не только по отношению к объектности мира, но и по отношению к нашей самости или субъективности.

В языке нет ничего, кроме различий. Однако различия не понимаются ныне в духе структуралистской системы бинарных оппозиций. Существуют две противоположные теории значения знака: референциальная, для которой значение это связь между именами и объектами мира, обозначаемыми словами, и функциональная, в которой значение слова понимается как его прагматическая роль в языке, как контекстуальный смысл его употребления в живой речи. Система дифференциаций понижает и объектную референциальность и

смысловую концептуальность любого знака. С одной стороны, знак – это отсроченное и замещенное присутствие вещи в её отсутствии. С другой стороны, смысл знака не просто заключен в нем, он в значительной мере произведен от вписанности знака в общую систему и последовательность других знаков, он есть результат многообразных дифференциаций и различий между знаками. Следствием этого оказывается то, что концепт никогда не присутствует в себе самом, он обнаруживает себя и как различие с самим собой.

Только широкая сеть взаимовлияний, взаимодействий и различий с другими знаками, в систему которых вписан концепт или фонический феномен, и позволяет значениям функционировать. Эта деятельность речевых различий носит прежде всего характер языковой игры. Игровое отношение речи и языка, графемы письма и фонемы знака порождают принципиальную несамостоятельность любого смысла, его извечную соотнесенность с другими, иными значениями, его динамичный, процессуальный характер. Значение всегда находится в движении. В движении различения и в движении игры. Современный интеллектуальный дискурс игры чаще всего тематизирует её как процесс бессубъектный. В том известном смысле, что не человек говорит посредством языка, а язык выражает себя посредством человеческой речи. Такое понимание языка как игры смысловых различий дает новый взгляд на природу субъективности.

Говорящий субъект, самость как идентичность для себя тоже не есть нечто самостоятельное, а скорее система различий. Современный дискурс отбрасывает идею сознания долингвистического и полагает, что не язык является функцией субъекта, а напротив, субъект оказывается функцией языка. «Говорящий или означающий субъект, – писал Деррида, – не присутствовал бы для себя, в качестве говорящего или означающего, без игры лингвистического или семиологического различения» (Деррида Ж. Голос и феномен. СПб., 1999. С.103). Субъект означает как окружающий его мир, так и самого себя. Существует, скажем, психоаналитика символизации индивида как субъекта желаний. Причем, в перформативных и экспрессивных актах речи субъект оказывается и означающим, и означаемым. Субъект становится присутствующим для себя только как вписанный в язык, через систему знаковых различий.

Одним из существеннейших различий, конституирующих субъекта, является различие речи и языка или письма и речи, графемы и фонемы. Иллюстрируя своеобразную игру, происходящую между письмом и речью, нам совершенно не обязательно ссылаться на контекст французского постмодернизма, скажем, на указанный Деррида факт, что различие между двумя употребляемыми им терминами (difference и

differance) воспринимается в письменной, но скрадывается в устной форме. Различие в записи гласных (голосовых феноменов) парадоксально остается здесь чисто графическим: оно пишется и читается, причем, как подобие орфографической ошибки, но не слышится и не произносится. Обратимся к нашей национальной культурной традиции, к стихам Пушкина, а точнее к их устному исполнению, озвучиванию пушкинского письма, осуществленному Сергеем Юрским. Читая «Графа Нулина», артист интонационно, посредством неожиданных пауз придавал весьма и весьма двусмысленное значение строкам:

Наталья Павловна раздета;

Стоит Параша перед ней.

Эффект различий и неожиданных смещений смысла достигался именно за счет того, что различие прописной буквы в уменьшительном от имени Прасковья и буквы строчной существует только на письме, но не в устной речи. Конечно, такие языковые игры можно расценить как фривольные. Однако не будем забывать, что свобода и ирония являются неотъемлемыми качествами игровой реальности. И никакая орфографическая погрешность для создания игры смыслов гению Пушкина не понадобилась. В отличие от Деррида.